СОДЕРЖАНИЕ

История идей, проектов и людей. Из разысканий в области археологии советской интеллектуальной жизни . 7

Часть I

Глава первая. Овладеть литературным наследством: Классика и классическое в советской эстетической теории (1920-е — середина 1930-х годов) 46

Глава вторая. От Всесоюзной Пушкинской выставки 1937 года к Государственному музею А. С. Пушкина (1938–1948): Директивная концентрация пушкинского рукописного наследия 151

Часть II

Глава первая. Дискуссия о «Пушкинской энциклопедии» в 1930-е годы: К истории справочных пушкинских изданий 214

Глава вторая. «Покончить со старым идеалистическим пушкиноведением»: К истории «пушкинского» тома из серии «Литературное наследство» 240

Глава третья. «Содействовать росту и развитию советского пушкиноведения»: К истории работы Пушкинской комиссии Академии наук СССР в 1931–1936 годах 296

Глава четвертая. «Нельзя замалчивать вопиющих пробелов и срывов»: К истории советского пушкиноведения за двадцать лет 336

Глава пятая. «Обеспечить свежий научный материал и проблемные статьи»: К истории довоенного «Временника Пушкинской комиссии» 360

Глава шестая. «Жалко и странно, что приходится это делать в порядке частной инициативы»: К истории выдвижения академического издания Полного собрания сочинений А. С. Пушкина на Сталинскую премию 376

Часть III

Глава первая. Пушкин и рождение «новой» социалистической литературы: Случай Дмитрия Дмитриевича Благого 408

Глава вторая. Пушкин и обретение русского литературного языка: Случай Виктора Владимировича Виноградова 453

Глава третья. Пушкин и построение «синтетической» истории литературы: Случай Григория Александровича Гуковского 507

Глава четвертая. Пушкин и смерть марксистской теории культуры в СССР: Случай Исаака Марковича Нусинова . 555

Глава пятая. На службе советского академического пушкиноведения: Случай Дмитрия Петровича Якубовича 614

«*Пишу в стихах посланье в Сочи…*»: Черноморские открытки Б. В. Томашевского и Д. П. Якубовича (лето 1933 года) 643

Библиография 678

Список иллюстраций 722

Аннотированный указатель имен 727

ИСТОРИЯ ИДЕЙ, ПРОЕКТОВ И ЛЮДЕЙ

ИЗ РАЗЫСКАНИЙ В ОБЛАСТИ АРХЕОЛОГИИ СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Наряду с писателями-классиками возможны и читатели-классики.

Н. Е. Прянишников. Рассуждение о читателе и писателе (1930)

Один ли Пушкин является жертвой подобных «исследовательских» наездов? Увы, кажется, все классики! И это плохо.

А. А. Сурков. Встречный счет критике (1932)

Закон сохранения интеллектуальной энергии проявляется везде, где ее почему-то не душили. Этим объясняется расцвет нашей пушкинистики: Пушкин был поднят на щит, как чемпион в спорте или как победитель международного конкурса, и пушкинистика оказалась поощряемой областью филологии. В известном смысле это случайность, хотя прославление Пушкина было одной из форм «вождизма», без которого советская идеология немыслима <…>. Вот и Пушкин, который совсем не годился в предшественники соцреализма, был избран «вождем». На этой аберрации мы заработали таких блистательных ученых, как Б. В. Томашевский, В. М. Жирмунский, Ю. Г. Оксман, Г. А. Гуковский, В. В. Виноградов, С. М. Бонди, <…> Ю. Н. Тынянов, позднее Н. Я. Эйдельман, Ю. М. Лотман и другие.

Е. Г. Эткинд. «Эту песню не задушишь, не убьешь…»: О законе сохранения интеллектуальной энергии (1997)

1

Настоящее исследование посвящено частному эпизоду из советской интеллектуальной истории 1920–1950-х годов. По сути, оно строится вокруг хотя и одной, но весьма значительной для

сталинской культуры идеи — идеи *классики* и *классического*[1], интересами власти и силами гуманитариев-теоретиков персонифицированной в почти сакральной фигуре А. С. Пушкина. Этим обстоятельством, с одной стороны, очерчена *тематика* работы, которую, казалось бы, можно точно описать формулой П. А. Дружинина «идеология и филология»[2]. *Однако мы склонны несколько сместить смысловые акценты, поставив «филологию» перед «идеологией», и рассматривать науку не как поле преломления политических идей, а как область, хотя и реагирующую на изломы идеологического вектора, но все же сохраняющую свое глубинное содержание.* С другой стороны, указанным обстоятельством обусловлена избранная *методология*, предполагающая анализ не только обильного фактического материала, но и ранее сформулированных на его основе интеллектуальных концепций. Посредством рассмотрения литературно-критических и научно-теоретических текстов с учетом персональной прагматики пишущего и заданной властью политико-идеологической рамки мы стремимся обнаружить и описать те механизмы, с помощью которых осуществляются интеллектуальные спекуляции, позволившие сталинскому режиму поставить культуру на службу собственным идеологическим интересам.

В хрестоматийной книге «Археология знания» (*L'archéologie du savoir*), вышедшей по-французски в 1969 году, М. Фуко писал о ключевых принципах истории идей:

> она рассказывает периферийную и маргинальную историю. Не историю наук, а историю тех несовершенных и плохо обоснованных познаний, которые на всем протяжении своего упорного существования никогда не смогли обрести научной формы

[1] Принимая во внимание идеологическую нагруженность понятий «классика» и «классическое», мы сознательно отказались от их закавыченного употребления, дабы не затруднять читателям процесс знакомства с настоящей книгой.

[2] См.: *Дружинин П. А.* 1) Идеология и филология. Ленинград, 1940-е гг.: Документальное исследование. М., 2012. Т. 1–2; 2) Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского: Документальное исследование. М., 2016.

> <…>. Историю не литературы, а того сопутствующего волнения, той повседневной и так быстро забывающейся писанины, которая никогда не получает или тотчас утрачивает статус произведения: анализ псевдолитературы, альманахов, журналов и газет, скоротечных успехов, скандальных авторов. История идей, определенная таким образом, — и сразу становится ясно, как сложно зафиксировать ее точные границы, — обращается ко всей той скрытой мысли, ко всему набору представлений, которые анонимно распространяются среди людей; сквозь разломы великих дискурсивных памятников она выявляет ту зыбкую почву, на которой они покоятся. <…> история идей оказывается дисциплиной о началах и концах, описанием неясных непрерывностей и возвратов, воссозданием развития в линейной форме истории. Но она может также описать все взаимодействие обменов и посредников, существующих в разных областях: она показывает, как распространяется научное знание, как оно порождает философские понятия, а иногда обретает форму литературных произведений. Она показывает, как проблемы, понятия и темы могут переходить из философского поля, где они были сформулированы, в научные или политические дискурсы. Она соотносит произведения с социальными институтами, с общественным поведением или привычками, с технологиями, потребностями и немыми практиками. Она пытается оживить наиболее разработанные формы в том конкретном ландшафте, в той среде роста и развития, где они зародились. В таком случае она становится дисциплиной о взаимопроникновениях, описанием концентрических кругов, которые охватывают произведения, выделяют их, связывают между собой и включают во все то, что произведениями не является[1].

Настаивая на необходимом обновлении методологии и утверждая теоретические принципы «археологии знания», Фуко писал об истории идей как о дисциплине, занятой анализом периферийных, окраинных явлений, по-настоящему определяющих направления эволюции гуманитарной мысли[2].

[1] *Фуко М.* Археология знания. СПб., 2004. С. 255–259.

[2] В этом смысле переклички между концептуализацией Фуко и хронологически более ранними открытиями «формалистов», чьи идеи активно

Однако опыт сталинизма, до сегодняшнего дня не ставший принадлежностью истории, по-прежнему продуцирует всевозможные дискурсивные практики и поэтому не вполне может быть описан при помощи предложенного Фуко инструментария. Сам объект нашего исследования лишен формальной завершенности и представляет собою некую асинхронную совокупность идей, часть которых все еще формирует наше актуальное представление о порядке вещей. *Таким образом, «археология знания» с присущим ей набором методологических принципов в нашем случае должна быть подкреплена контекстуальным анализом и намеренной историзацией интеллектуального «наследства».*

Ситуация всесторонней политизации и идеологизации, которая постепенно складывалась в Советском Союзе в 1920–1950-е годы, характеризовалась нестабильностью интеллектуальной жизни. Дело в том, что многие некогда центральные идеи и концепции за короткое время сначала превращались в маргинальные, а затем и вовсе вытеснялись за рамки легального поля. Однако такое вытеснение отнюдь не исключало повторной актуализации некогда отвергнутых мыслительных и дискурсивных практик[1]. Нерасчлененность

заимствовались иностранными мыслителями, очевидны: едва ли не весь XX век социология знания, сформировавшаяся в 1920–1930-е годы, занималась анализом модернизационных процессов, которые поспособствовали становлению многочисленных неклассических типов социального знания. Так, о значении второстепенных, периферийных явлений в общекультурной динамике, «канонизации побочной линии» (формула из статьи «Литература вне „сюжета“» (опубл.: Розанов. Из книги «Сюжет как явление стиля». [Пг.:] ОПОЯЗ, 1921)) писал еще В. Б. Шкловский в работах начала 1920-х. Затем эту же логику развил и Ю. Н. Тынянов, сначала в статьях «Литературный факт» (опубл.: ЛЕФ. 1924. № 2) и «Вопрос о литературной эволюции» (опубл.: На литературном посту. 1927. № 10), а затем в книге «Архаисты и новаторы» ([Л.:] Прибой, 1929); об этом далее. Подробнее о взгляде формалистов на художественную традицию и проблему ее рецепции см.: *Калинин И. А.* История литературы как Familienroman (русский формализм между Эдипом и Гамлетом) // Новое литературное обозрение. 2006. № 4 (80). С. 64–83. См. также: *Дмитриев А. Н., Левченко Я. С.* Наука как прием: Еще раз о методологическом наследии русского формализма // Новое литературное обозрение. 2001. № 4 (50). С. 195–245.

[1] О реанимации «сталинских» методов реализации культурной политики в разные периоды советской истории второй половины XX столетия см.,

интеллектуального дискурса в те годы не позволяла ему стабилизироваться, образовать «центр» и «периферию»: постоянная циркуляция смыслов, не закрепленных за конкретной сферой знания, определила *тотальный* или, по выражению М. М. Бахтина, «авторитарный» характер этого дискурса. (Неслучайно расцвет структурной лингвистики и функциональной стилистики пришелся именно на послесталинские годы. Задача по разграничению и сегментации некогда монолитного дискурсивного пространства в те годы стала едва ли не центральной во всех сферах гуманитаристики.) Так, политическая идея могла стать «литературным фактом», равно как и идея литературная — фактом политики. Очевидно, например, что развернувшаяся в позднесталинскую эпоху кампания против марризма в языкознании — итог *сонаправленного* движения разнородных идей. На уровне смежных интеллектуальных сфер сознательно нагнетаемая тенденция к обобществлению была столь сильна, что граница между ними попросту стиралась.

Все это снимало целый ряд управленческих вопросов. В такой ситуации одно властное решение затрагивало сразу все сферы вне зависимости от их идеологической приоритетности, но и само это решение оформлялось из многих импульсов. Именно поэтому одни и те же фрагменты очередной «гениальной» теоретической работы Сталина то и дело возникали, например, в редакционных статьях «Правды» и академических трудах по точным, естественным и гуманитарным наукам, в школьных/вузовских учебниках и официальной/частной переписке, на фасадах зданий и агитационных плакатах… Таким образом идеи, обеспеченные властным ресурсом, становились универсальными, способными реализовываться в любых — даже несмежных — контекстах. Думается, этот процесс во многом определил подвижную во времени специфику существования гуманитарной мысли в 1920–1950-е годы.

например: *Прохоров А.* Унаследованный дискурс: Парадигмы сталинской культуры в литературе и кинематографе «Оттепели». СПб., 2007; *Дружинин П. А.* Моцарт и Сальери: Кампания по борьбе с отступлениями от исторической правды и литературные нравы эпохи Андропова. М., 2024.

Распространенный в исследовательской литературе утрирующий взгляд на неоднородную культурную ситуацию сталинской эпохи, развившийся вследствие не вполне последовательного и весьма фрагментарного введения новых сведений об этом времени в научный оборот[1], имеет в своей основе мысль об *индоктринации* как о ключевой стратегии однонаправленного взаимодействия власти и интеллектуального сообщества. Принятая многими специалистами в качестве безусловной, модель «коммуникации» в советской (тоталитарно ориентированной) публичной сфере в общем виде выглядит следующим образом: партийная верхушка якобы спускает оформленные в виде директив, распоряжений и — реже — развернутых предписаний идеи, а адресаты этих идей, лишенные возможности независимого суждения, вынужденно занимаются всевозможными формами их тиражирования; интеллектуалы, которые не смогли сообразоваться с этой производственной логикой, либо подвергались идеологическим проработкам, становились объектами травли, либо же оказывались жертвами физического уничтожения. При таком подходе любые идеи и концепции трактуются как эквиваленты политических. Если в контексте институциональной истории эта довольно примитивная схема культурного производства при должном уточнении может восприниматься как адекватная, то в области неинституционализированной интеллектуальной деятельности[2] она попросту не может быть релевантной из-за отсутствия регламентированного порядка взаимоотношений между властью и мыслящим субъектом. Иначе говоря, существование

[1] Перечень наиболее значимых в историко-культурной перспективе сборников документов и архивных материалов см. в соответствующем разделе списка литературы.

[2] Так, Б. Г. Юдин писал: «Процесс институционализации науки в России, не успевший привести к образованию ее устойчивой автономии, резко изменяет направление после октября 1917 г. По инерции движение в сторону институционализации еще продолжалось, <…>. Очень быстро, однако, преобладающим стал иной, противоположный процесс деинституционализации, т. е. разрушения тех ценностно-нормативных структур, которые сложились ранее во взаимоотношениях науки и общества» (*Юдин Б. Г.* История советской науки как процесс вторичной институционализации // Подвластная наука? Наука и советская власть. М., 2010. С. 121–122).

в условиях организационных ограничений задавало конечный набор ролей и функций, в рамках которого почти не оставалось пространства для интеллектуального маневра, тогда как сфера производства знания такого упорядочения не предполагала и предполагать не могла. Дело в том, что партийное руководство было лишено ресурсов и возможности следить за интенсивностью идеологической обработки интеллектуального сообщества. Да и контролировалось только то, что уже было написано и каким-либо образом предъявлено, но не сам процесс производства знания (зачастую принципиально различавшийся на «внешнем» и «внутреннем» уровнях адресации). Об этом свидетельствуют, например, писавшиеся преимущественно в сталинскую эпоху и ныне полностью или частично опубликованные дневники и записные книжки А. Н. Афиногенова, А. А. Ахматовой, О. Ф. Берггольц, С. Б. Бернштейна, Л. Я. Гинзбург, А. К. Гладкова, Э. Ф. Голлербаха, В. М. Жирмунского, Вс. Вяч. Иванова, М. А. Кузмина, Ю. М. Нагибина, Ю. К. Олеши, А. П. Платонова, М. М. Пришвина, М. А. и Т. Г. Цявловских, К. И. и Л. К. Чуковских, Е. Л. Шварца, а также доступные лишь фрагментами записи Б. М. Эйхенбаума, О. М. Фрейденберг[1]. Именно поэтому в те годы «инакомышление»[2] и даже малейшее

[1] Полный перечень опубликованных в 1957–1982 годах эгодокументов советских писателей и воспоминаний современников о них см. в: Советское общество в воспоминаниях и дневниках: Аннотированный библиографический указатель книг, публикаций в сборниках и журналах. М., 2017. Т. 8. Обзор вышедших в 1980–1990-е годы изданий см. в: *Паперно И. А.* Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах: Опыт чтения. М., 2021. С. 9–21. См. также: Intimacy and Terror: Soviet Diaries of the 1930's. New York, 1995; *Lahusen T.* Is There a Class in This Text? Reading in the Age of Stalin // Reading Russia: A History of Reading in Modern Russia. Milan, 2020. Vol. 3. P. 83–106; *Hellbeck J.* Revolution in my Mind: Writing a Diary under Stalin. Cambridge, 2009 (издание на рус. яз. — *Хелльбек Й.* Революция от первого лица: Дневники сталинской эпохи. М., 2021).

[2] Ко второй половине 1930-х размах политических преследований был столь велик, что в среде «левых» интеллектуалов — антисталинской коммунистической оппозиции — зародилась мысль о необходимости развертывания надгосударственной общественной кампании с целью спасения политзаключенных. С этой целью Виктор Серж в 1936 году подготовил специальный «Доклад о наказании в СССР лиц, виновных в инакомышлении» (опубл.: Новое литературное обозрение. 2020. № 2 (162)).

подозрение в нем стали едва ли не главными предлогами к осуществлению политической расправы.

История любой науки всегда связана с вопросом о *классике* как об интегральной части знания, о ее понятийном объеме и материальных границах (чаще — контурах). Идея интеллектуального прогресса, лежащая в основании позитивистской исследовательской парадигмы, определяет неизбежную иерархизацию идей, взглядов и концепций; этим объясняется возникновение всевозможных «классических трудов» по целому ряду дисциплин, от экономики и права до физики и биологии. И. М. Савельева и А. В. Полетаев в книге «Классическое наследие» последовательно разделяют два подхода к научной классике — «презентистский» (т. е. отталкивающийся от вклада классиков в современное знание) и «историцистский» (т. е. основывающийся на принципах интеллектуальной истории)[1]. При этом описанное расхождение основывается на методологических нестыковках, тогда как в отношении ядра научной классики чаще всего существует консенсус. Те интеллектуальные построения, которые рассматриваются в настоящем исследовании, уже приобрели статус классических, а их авторы давно стали классиками русистики[2].

Как представляется, такое положение дел существенно затрудняет всякий анализ по нескольким причинам:

---

[1] См.: *Савельева И. М.*, *Полетаев А. В.* Классическое наследие. М., 2010. С. 43–48.

[2] О параметрах «классичности» научного текста см.: *Зенкин С. Н.* Гуманитарная классика: между наукой и литературой // Классика и классики в социальном и гуманитарном знании. М., 2009. С. 281–293; *Савельева И. М.*, *Полетаев А. В.* Классическое наследие. С. 64–77; *Parsons T.* Revisiting the Classics Throughout a Long Career // The Future of the Sociological Classics. London, 1981. P. 183–194; *Davis M. S.* «That's Classic!» The Phenomenology and Rhetoric of Successful Social Theories // Philosophy of the Social Sciences. 1986. Vol. 16. № 3. P. 285–301; *Alexander J. C.* The Centrality of the Classics // Social Theory Today. Cambridge, 1987. P. 29–31; *Kerckhovet D. de.* What Makes the Classics Classic in Science? // Bulletin of the American Society for Information Science. 1992. № 18. P. 13–14; *MacMulliriy E.* Scientific Classics and Their Fate // PSA: Proceedings of the Biannual Meeting of the Philosophy of Science Association. 1994. Vol. 2. P. 266–274; *Hartog F.* The Double Fate of the Classics // Critical Inquiry. 2009. Vol. 35. № 4. P. 964–979.

1) классические тексты не характеризуются «качественным превосходством» по отношению к текстам неклассическим — в основании их разграничения лежит более сложная система оснований, связанная с категориями «производящего» и «производного»; 2) признание за текстом его принадлежности к сфере *классики* исключает аспект времени его создания, делая отраженные в нем идеи аксиоматическими или попросту «*вечными*»[1]; 3) постоянная актуализация содержащихся в классическом тексте идей замыкает современное научное знание на теоретических постулатах, которые созвучны текущей действительности лишь в очень утрированном виде и, следовательно, не дают адекватного представления о ней; 4) стратегии становления гуманитариев классиками типологически близки тем, которые существуют в областях литературы, искусства и философии. В упомянутой книге И. М. Савельева и А. В. Полетаев пишут, что

> научная классика <…> не несет в себе никаких элементов сакральности. Классика в науке не является ни предметом поклонения, ни идеальным образцом для подражания, ни «мерилом» всех последующих научных работ. Классика — это основы современного знания, условно говоря, фундамент, который, однако, при всей его важности, является лишь одной из частей здания[2].

Однако в отношении к гуманитарному знанию часто можно наблюдать именно сакрализацию идей и фетишизацию методов, о чем свидетельствует хотя бы наличие в современном интеллектуальном пространстве так называемых *научных школ* — реликтов некогда обострившихся, а сегодня, в обстановке децентрализации знания и глубочайшего

---

[1] Так, И. М. Савельева и А. В. Полетаев, пытаясь определить понятийные контуры «классики», пишут: «Классикой оказывается та часть прошлых достижений культуры, которая сохраняет свою актуальность в настоящем и продолжает существовать и оставаться востребованной наряду с более поздними произведениями искусства, философскими и политическими идеями, научными концепциями и теориями» (*Савельева И. М.*, *Полетаев А. В.* Классическое наследие. С. 20).

[2] Там же. С. 26.

мыслительного кризиса, почти забытых и лишь иногда вспыхивающих теоретических разногласий (например, до сих пор длящееся пресловутое противостояние Московской и Ленинградской (Петербургской) фонологических школ, как представляется, приобрело худшие черты «партийности»). Вместе с тем ясно, что априори конфликтное взаимодействие между адептами этих самых школ строится не на принципах продуктивной полемики, а на давней идее спора ради спора. Однако так было не всегда. В определенные периоды истории такие интеллектуальные конфликты не проистекали из стремления создать видимость интеллектуальной жизни, но были ее прямым следствием. Именно таким периодом была первая половина минувшего столетия.

Целью нашего исследования стало уточнение тех оснований, на которых строилось взаимодействие интеллектуалов и власти в сталинскую эпоху. Производство гуманитарного знания в разные периоды сталинизма характеризовалось разной степенью контроля: в рамках каждого из приоритетных для партийного руководства направлений существовали каналы идеологического влияния, до некоторой степени упорядочивающие и без того институционально оформленную деятельность интеллектуального сообщества, но отнюдь не индивидуальные мыслительные практики[1]. Зачастую случалось так, что власть, наделяя человека или группу людей правом независимого суждения и фактической неприкосновенностью, присваивала себе полезные для нее идеи, которые создавались в политически разнородном дискуссионном поле. Так происходило неоднократно, и во всех случаях сталинское руководство действовало по одной и той же схеме. Сначала партия вполне определенно поддерживала какой-либо политико-идеологический вектор и его сторонников,

[1] Эти практики (и даже те, которые непосредственно граничили с политической сферой), исток которых обнаруживается в «ленинских» 1920-х, продолжали оставаться весьма разнообразными и в сталинскую эпоху. Подробнее см.: Stalin Era Intellectuals: Culture and Stalinism. London; New York, 2023. См. также: *Цыганов Д. М.* Опрощение сталинизма: Эстетические и политические смыслы советской культуры 1920–1950-х гг. // Новое литературное обозрение. 2023. № 4 (182). С. 350–359.

а затем, когда отведенная им роль была сыграна, не просто меняла предпочтения, но буквально отрекалась от прежнего курса, уничтожая все следы (а порой и некоторых свидетелей) былого расположения. Достаточно вспомнить печальные примеры рапповцев, «вульгарных социологов», «мелкобуржуазных формалистов», писателей-«пессимистов», филологов-«космополитов», языковедов-марристов и т. д. Однако даже на уровне перечисленных нами конкретных групп, объединенных интеллектуальным, тактическим взаимодействием и прочими — более специфическими — формами сотрудничества, советский интеллектуальный истеблишмент характеризовался разобщенностью, смысл которой можно было уловить лишь на пересечении контекстов, общих для всех героев настоящего исследования.

Особенный интерес для партфункционеров представляли те области гуманитарного знания и смежные с ними практики, чей инструментарий был направлен на выстраивание нарратива о *прошлом* и, следовательно, обладал существенным спекулятивным потенциалом. В этой связи особое положение занимали историография и литературоведение (к нему примыкала литературная критика). Они и становились своеобразными лабораториями, в которых создавались и модифицировались политико-идеологические смыслы, но отнюдь не только каналами их трансляции.

Детали взаимодействия исторической науки и сталинской власти весьма подробно и обстоятельно описаны в многочисленных специальных исследованиях[1]. Между тем число подобных работ о литературоведении и литературной критике 1920–1950-х годов, к сожалению, несоизмеримо меньше.

2

История литературной критики и литературоведения 1920–1950-х годов как сегмент интеллектуальной истории — область

[1] Перечень специальных исследований, посвященных функционированию исторической науки в сталинскую эпоху, см. в соответствующем разделе списка литературы.

научного знания, в разработке которой до сих пор не установился ни качественный, ни даже количественный баланс. С момента принятия ЦК КПСС постановления «О литературно-художественной критике»[1] от 21 января 1972 года литературная критика из практически ориентированного паралитературного дискурса стала полноценным объектом научного изучения. В этом документе содержалось требование

> предусмотреть в учебных планах университетов, педагогических институтов и специальных высших учебных заведений необходимые возможности для факультативной специализации студентов и аспирантов по проблемам литературно-художественной критики[2].

Однако провозглашенная в том же постановлении необходимость «улучшить и расширить подготовку <…> квалифицированных специалистов в области теории литературы и искусства и литературно-художественной критики»[3] плохо согласовывалась с изначально заявленным «факультативным» характером изучения новой историко-практической дисциплины, поэтому уже вскоре она вошла в число обязательных курсов для ряда специальностей. По-иному дела обстояли в области изучения истории и методологии литературной науки. Весьма сдержанный и чрезвычайно запоздалый интерес к этой области гуманитарного знания возник лишь в последние десятилетия. Д. В. Устинов в статье 1998 года справедливо писал:

> Литературоведческие тексты советской эпохи, особенно ее первой, наиболее репрессивно-ригористической половины (сталинских времен), приобретают для современного читателя все более и более герменевтический характер <…>. Для сохранения своей научной и культурной ценности они требуют прочтения и истолкования на многих уровнях восприятия, с учетом политических,

[1] Впервые опубл. в изложении в: Правда. 1972. № 25 (19533). 25 января. С. 1.

[2] Цит. по: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1986. Т. 12. С. 173.

[3] Цит. по: Там же.

> идеологических, психологических, эстетических и пр<очих> обстоятельств и установок эпохи, с привлечением идейного анализа структуры текста. Это же можно сказать и о научных текстах любых эпох. К литературоведческим произведениям необходим такой же исторический подход, как и к произведениям литературы (вплоть до эстетического анализа)[1].

Но на фоне по сей день превалирующей тенденции к деконтекстуализации и инструментализации литературоведческих идей и концепций этот интерес все еще представляется не вполне оформленным. Иначе говоря, научные труды, созданные, например, в первой половине минувшего столетия, зачастую воспринимались и воспринимаются многими специалистами — поборниками интеллектуальной преемственности — как источники актуального *внеидеологического* инструментария, а не как принадлежность определенного эпизода из истории науки. Дело в том, что в литературной науке довольно долгое время существует проблема исследовательской «вненаходимости»: подавляющее большинство появляющихся работ представляют собой то, что на бюрократическом языке называется апробацией, а по сути является банальной обкаткой какой-либо аналитической схемы. Между тем в рамках той части интеллектуального сообщества, где эти схемы вырабатываются, мы сталкиваемся именно с историзирующим подходом к идеям, утерявшим свою актуальность[2]. В описанной ситуации едва ли

---

[1] *Устинов Д. В.* Научные концепции Г. А. Гуковского в контексте русской истории и культуры XX века // Новое литературное обозрение. 1998. № 1 (29). С. 73.

[2] Именно с этим связано появление работ, опровергающих научный потенциал той или иной методологической рамки. В этом направлении были созданы, например, статьи-«манифесты» «Памятник научной ошибке» (опубл.: Литературная газета. 1930. № 4 (41). 27 января) В. Б. Шкловского, «М. М. Бахтин в русской культуре XX века» (опубл.: Вторичные моделирующие системы. Тарту: ТГУ, 1979) и доклад «История литературы как творчество и исследование: Случай Бахтина» (опубл.: Материалы Международной научной конференции «Русская литература XX–XXI веков: Проблемы теории и методологии изучения», 10–11 ноября 2004 г. М.: Изд-во МГУ, 2004) М. Л. Гаспарова, «Расставаясь со структурализмом (тезисы для дискуссии)» (в соавт. с А. Тимберлейком; опубл.:

не единственной стратегией работы становилось неконтролируемое воспроизведение, сопровождающееся неконтролируемым же расширением иллюстративного материала, призванного подкрепить «научность» подобных построений[1]. Словом, на объемах исследовательской литературы по истории советской литературной критики и советского же литературоведения закономерно сказалась асинхронность их становления полноценными областями филологической науки. Если построение историзированного нарратива, описывающее «единство и борьбу» эстетических взглядов, имело давнюю традицию и входило в базовую компетенцию исследователя, то контекстуализация различных гуманитарных концепций, долгое время расценивавшихся в сугубо утилитарном ключе, — задача, которую нельзя было решить теми же средствами. Все это повлияло на нынешнее положение в деле изучения истории литературной критики и литературоведения советского времени.

Внезапно возникшая потребность в обретении *истории* литературной критики и литературоведения стала главным стимулом начавшегося в конце 1970-х — 1980-е годы публикаторского бума. (До этого времени идеологизированное изучение паралитературной публицистики ограничивалось созданием малочисленных и низкопробных исследований и сопровождалось неупорядоченной, но тщательной публикацией источников — текстов и прочих документов,

---

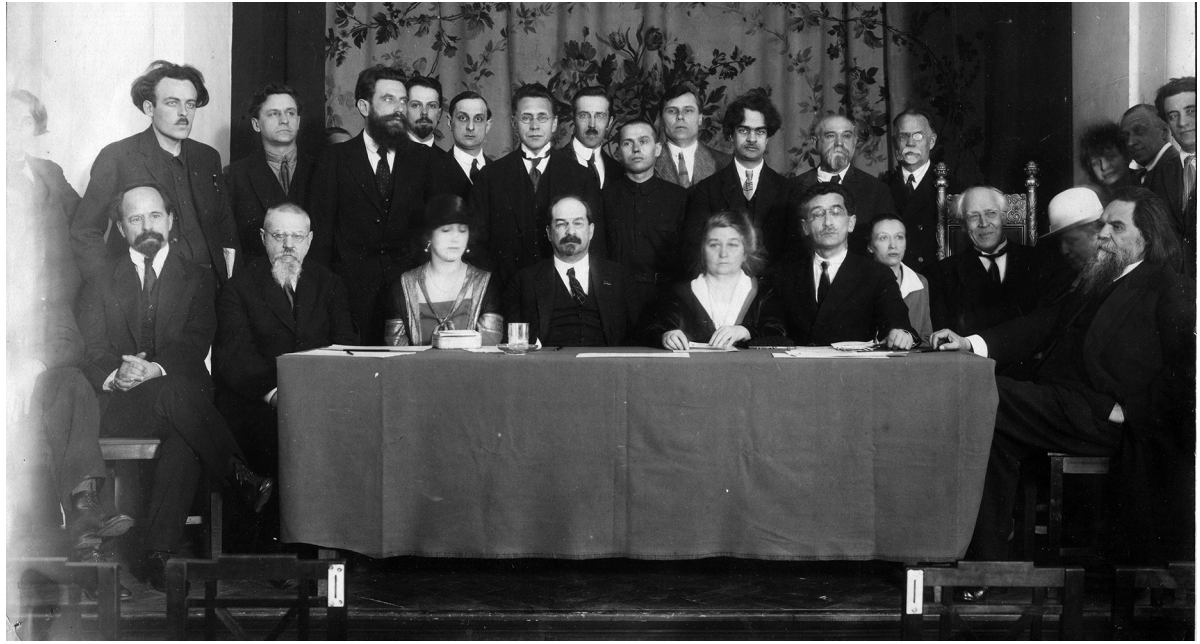
Вопросы языкознания. 1997. № 3) и «Московско-тартуская семиотика: Ее достижения и ее ограничения» (опубл.: Новое литературное обозрение. 2004. № 4 (98)) В. М. Живова, «О кризисе академического пушкиноведения и подметках великих пушкинистов» (опубл.: Пушкин, Достоевский и другие (Вопросы текстологии, материалы к комментариям): Сб. статей. СПб.: Академический проект, 2003) В. Д. Рака.

[1] На сегодняшний день не представляется возможным даже подсчет работ, в основу которых положены, например, идеи В. Н. Топорова о так называемом Петербургском тексте русской литературы или М. М. Бахтина о формах времени и хронотопа в романе. Идеи эти перелицовываются, извращаются, становятся предметами различных методологических и идеологических спекуляций: число исследований, посвященных всевозможным «локальным текстам» — от Крымского до Пермского, растет в геометрической прогрессии, а «хронотоп» отыскивают в текстах любых жанров и эпох — от оды до лирической драмы.

связанных с именами Белинского, Герцена, Горького, Добролюбова, Писарева, Плеханова, Чернышевского и т. д.) Несмотря на укрепившееся в гуманитарной среде и в известной степени поддержанное хрущевским докладом 1956 года обманчивое ощущение свободы слова в исследовании литературного процесса сталинской эпохи, многие литературоведы и историки, вопреки открывшимся перед ними возможностям, обратились к хронологически более раннему периоду советской культуры — к 1920-м годам. Этот парадокс во многом объяснялся стремлением исследователей сохранить память о старательно уничтожавшейся в сталинском СССР культуре «нэповской оттепели», характеризовавшейся относительной свободой творческих дискуссий и полемик по вопросам эстетики. Именно тогда вышли основополагающие работы по истории литературы и литературной критики досталинского периода. (Отметим, что литературная критика уже тогда стала пониматься предельно расширенно: в нее включались не только собственно критические тексты, посвященные конкретным литературным произведениям или окололитературным поводам, но и тексты теоретические, зачастую содержавшие отвлеченные эстетико-концептуальные построения.) Это направление, расцвет которого пришелся на перестроечную эпоху, ставило своими задачами прежде всего расширение поля фактического материала (с чем связана активная публикаторская работа, благодаря которой в научный оборот был введен внушительный массив материалов о художественной жизни 1920–1930-х годов) и проблематизацию отдельных тематических участков историко-литературного процесса. На фоне появлявшихся в те годы на страницах «толстых» журналов художественных текстов Ахматовой, Булгакова, Бунина, Замятина, Мандельштама, Набокова, Пастернака, Пильняка, Платонова, Цветаевой, Шаламова и др. корпус вышедших сборников и исследований, посвященных эстетическим теориям и художественным практикам 1920–1930-х, хотя и казался куда менее существенным, но в перспективе сыграл ключевую роль в рождении окончательно отошедшего от жесткой идеологической регламентации подлинно

научного дискурса, предметом которого стала советская интеллектуальная культура.

Примерно тогда же началась не закончившаяся по сей день переориентация исследовательского сообщества. Прежде всего она выразилась в появлении корпуса исследований, учтенных нами при составлении списка литературы к настоящей книге. В минувшие три десятилетия менялись университетские курсы истории литературной критики и литературоведения XX века, составлялись хрестоматии, писались и переписывались учебники; выходили индивидуальные и коллективные монографии, научные статьи, историко-биографические книги и сборники исследований, документов и воспоминаний; публиковались письма, записные книжки и дневники; переиздавались с предисловиями и комментариями труды забытых или некогда поруганных филологов, к настоящему моменту приобретших статус классиков (среди них — М. К. Азадовский, М. П. Алексеев, М. М. Бахтин, Н. Я. Берковский, А. Н. Веселовский, В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, Л. Я. Гинзбург, В. М. Жирмунский, Е. Д. Поливанов, А. А. Потебня, В. Я. Пропп, Л. В. Пумпянский, Д. П. Святополк-Мирский, А. П. Скафтымов, Б. В. Томашевский, Н. С. Трубецкой, О. М. Фрейденберг, В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум, Р. О. Якобсон, Б. И. Ярхо; наряду с ними активно печатались и те, кого тогда принято было именовать «советскими литературоведами»). В списке литературы нами учтены и те немногочисленные работы, которые посвящены взаимодействию литературной науки и идеологии. Важнейшим направлением в процессе создания истории советской гуманитарной науки первой половины прошлого века является изучение и публикация материалов и воспоминаний, связанных с работой важнейших институций — Государственной академии художественных наук (ГАХН), Государственного института истории искусств (ГИИИ), Института красной профессуры, Института сравнительной истории литературы и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ), Института мировой литературы им. А. М. Горького (ИМЛИ), Института литературы (Пушкинского Дома) АН СССР, Института языка и мышления АН СССР им. Н. Я. Марра, Коммунистической



Илл. 1. Торжественное заседание в ГАХН, посвященное 30-летию литературной деятельности А. В. Луначарского. Сидят (слева направо): П. И. Лебедев-Полянский, М. Н. Покровский, Н. А. Розенель, А. В. Луначарский, Л. И. Аксельрод, П. С. Коган, Н. А. Коган, К. С. Станиславский, А. А. Яблочкина, П. Н. Сакулин. Стоят (слева направо): А. И. Безыменский, неуст. лицо, О. Ю. Шмидт, Д. С. Усов, Б. В. Шапошников, Н. К. Пиксанов, А. А. Сидоров, В. Т. Кириллов, М. П. Герасимов, П. И. Новицкий, М. П. Кристи, С. Попов (?), З. Н. Райх, В. Э. Мейерхольд, И. П. Трайнин. Фотография. Март 1926 года.
Литературный музей ИРЛИ

академии, Института философии, литературы и истории имени Н. Г. Чернышевского (ИФЛИ), Общества изучения поэтического языка (ОПОЯЗ) и тяготевших к нему объединений, а также многих других.

Все это — множество частных следствий некогда предпринятой ревизии гуманитарного «наследства»[1].

Укорененное представление о генетическом сродстве литературной критики и литературоведения[2], возникшее вследствие до сих пор отсутствующей внятной дифференциации, остается серьезным препятствием к построению неутрированного, многоаспектного и вместе с тем цельного нарратива о литературной науке в СССР в 1920-е — начале 1990-х. Однако начало этому положено. Но и здесь обнаруживается существенная диспропорция: мыслительные практики, идеи и концепции первой половины минувшего века изучены куда подробнее, чем интеллектуальная культура второй половины (за некоторыми, как это следует из приведенного библиографического перечня, существенными исключениями). Огромное число превосходных

[1] Едва ли не самым значимым следствием этой ревизии стало появление в 1960–1990-е множества библиографических справочников и указателей, содержавших информацию о вышедших в (до)советское время литературоведческих и литературно-критических текстах. См., например: Советское литературоведение и критика. Русская советская литература. Общие работы, 1917–1973: Библиографический указатель: В 4 ч. М., 1965–1979; История русской литературы конца XIX — начала XX в.: Библиографический указатель. М.; Л., 1968; История русской литературы XIX — начала XX века: Библиографический указатель. Общая часть. СПб., 1993; Советское литературоведение и критика. Теория литературы, 1917–1967: Библиографический указатель: В 4 ч. М., 1989; Советское литературоведение и критика, 1917–1925: Библиографический указатель: В 3 ч. New York, 1994. См. также: Зарубежное литературоведение и критика о русской классической литературе. М., 1978; Социалистический реализм в зарубежном литературоведении. М., 1979.

[2] Еще в самом начале 2000-х М. Л. Гаспаров в заметке «К обмену мнений о перспективах литературоведения» (опубл.: Новое литературное обозрение. 2001. № 4 (50)) писал: «Я оптимистически надеюсь, что главным событием в нашей науке будет размежевание науки и критики (или, если угодно, публицистики): науки, которая описывает и систематизирует явления и процессы, и критики, которая делит их на хорошие и нехорошие» (*Гаспаров М. Л.* К обмену мнений о перспективах литературоведения // Новое литературное обозрение. 2001. № 4 (50). С. 324).

исследований, как мы показали выше, посвящено частным вопросам истории литературоведения советского времени. Тогда как число обобщающих работ, в которых историко- и теоретико-литературные разыскания приобретали черты историчности, сопричастности времени своего появления, несоизмеримо меньше[1].

Одну из первых серьезных попыток локализовать опыты литературной науки советского времени в культурно-идеологическом и социально-политическом контекстах предприняли авторы вышедшей в издательстве «Новое литературное обозрение» в 2011 году коллективной монографии «История русской литературной критики: Советская и постсоветская эпохи» под редакцией Е. А. Добренко и Г. Тиханова. В этом издании анализ литературоведческих концепций встроен в общий исследовательский нарратив[2]; частные сюжеты из истории науки не являются самоценными, а, напротив, призваны сформировать у читателя ощущение полноты и объема предложенных объяснительных схем. Между тем такая нерасчлененность литературной критики и литературоведения[3], продиктованная не только методологией, но и самим объектом изучения, при бесспорном богатстве *иллюстративного* материала и виртуозности его представления не привносит искомой ясности ни в одну из этих областей.

---

[1] Множество исследований общего характера (к настоящему моменту методологически устаревших) появилось еще в советское время; их перечень см. в соответствующем разделе списка литературы.

[2] См., например, четвертую главу «Литературные теории 1920-х годов: Четыре направления и один практикум» (с. 207–247), шестую главу «Советские литературные теории 1930-х годов: В поисках границ современности» (с. 280–334), двенадцатую главу «Открытия и прорывы советской теории литературы в послесталинскую эпоху» (с. 571–607), а также пятнадцатую главу «Литературная теория и возрождение академизма в постсоветской России» (с. 723–760).

[3] Во вступительном разделе к тому Добренко пишет: «В настоящей книге понятие „литературная критика“ покрывает <…> как журнальную критику, так и литературоведение (историю и теорию литературы). Критика рассматривается здесь, прежде всего, как социально-культурная институция <…>, которая превратилась в важнейший элемент становящейся в России XIX века „публичной сферы“» (История русской литературной критики: Советская и постсоветская эпохи / Под ред. Е. А. Добренко и Г. Тиханова. М., 2011. С. 6).